

Работы лауреатов IX «Международного литературного тютчевского конкурса «Мыслящий тростник»

Номинация «Философское стихотворение»

Андрей Фролов (Орел)- поэт, директор Орловского «Дома литераторов».

КОЛЕСО

Колесо по дороге катилось,
На ухабах стираясь до дыр.
В нём усталая белка крутилась –
Приводила в движение мир.

Ах, как весело спицы сверкали!
Мир раскрученный мнился иным.
Колесу мы кричали в запале:
– Ну давай!..
И летели за ним...

Пронеслось, прозвенело, умчалось
В даль далёкую, за окоём.
Только пыль на дороге осталась,
В нас – инерция. Так и живём.

Так живём, одурманены снами,
В переулках уютных квартир.

Колесо догнивает в канаве.
Белка сдохла.

Но крутится мир!

РЕПЕЙ

Под небом пыльным и сухим,
Меж двух сквозных степей,
Живёт адептом строгих схим,
Отшельником репей.

От зноя жилист он и чёрн,
Тревожен, как беда.
Корнями в выветренный дёрн
Вцепился навсегда.

Когда тебе у той черты
Случится проходить,

Не пожалей глотка воды
И дай ему попить.

НОВЕЙШАЯ ИСТОРИЯ

Время летело вкось,
Готово вот-вот упасть.
Майор непонятных войск
Примеривал новую власть.

Роты блестящих слов
Строились в армию фраз.
Била по нервам новь
И не щадила глаз.

Дворник дремал в углу,
На стыке новых держав,
Из нового лишь метлу
Старой
Хваткой
Держал.

НАБАТ

Даже глухие его услышали.
Даже немые вскричали в ответ...
Он разрастался, уже не стихая,
Мощной волною врывался в рассвет!

В небе клубился и падал отвесно,
Людям до крови сжимал кулаки.
Волей своей заострял повсеместно
Вилы и косы, и просто штыки.

Гулкий,
тревожный,
надрывный,
натужный,
Как предвещение близкой беды...
Даже безрукие взяли оружие.
Даже безногие стали в ряды.

ПОСОХ

В зоревых, тяжёлых росах,
В стылой сумеречной мгле
По земле блуждает посох,
Дыры делая в земле.
Сеет смуту и раздоры,
И судачат старики:
– Бродит в поисках опоры,
Твёрдой, праведной руки...

Владимир Хохлев (Санкт-Петербург)- поэт, главный редактор журнала
«Невечерний свет/infinite»

ТВОЯ ЛЮБОВЬ

Душа, душа, спала и ты...
Но что же вдруг тебя волнует,
Твой сон ласкает и целует
И золотит твои мечты?..
Блестят и тают глыбы снега,
Блестит лазурь, играет кровь...
Или весенняя то нега?..
Или то женская любовь?..
Федор ТЮТЧЕВ (1836)

Что может растопить снега
и развести на небе тучи,
сойти лавиной с горной кручи,
и скрыться в поле за стога?..

Что может нежной, мягкой силой
поэта душу разбудить?
Заставить петь и не забыть
глаза счастливые любимой?

Что невесомой позолотой
покроет тайные мечты?
Поток духовной чистоты
сопроводит ума работой?

.....

Она, как шелковая ткань,
прохладой прикоснется к сердцу...
Легонько приоткроет дверцу
в безоблачного мира рань.

Она - горячий, легкий пар...
Мужское слово принимая
и взгляд восторженный встречая,
подарит милому свой жар.

Она – ромашки тонкий лепесток,
дыхания таинственного шелест.
Желаний ласковых весенний нерест,
сердечной пылкости бурлящий ток.

Она – поэзия высоких нот.
Возвышенное мира восприятие -
безумное на первый взгляд занятие...
Родник животворящих вод.

Она – фантазия, прекрасная мечта.
В быль воплотившаяся искренняя вера.
Земного счастья внутренняя мера.
Души отважной стать и красота.

Она – незримый, не вечерний свет.
Пространство чувств и время ожиданий,
лучей невидимых тепло касаний...
Смирение и верность многих лет.

Она - источник вдохновений,
художника надежная подруга.
Гармония и завершенность круга.
Восторг и радость изумлений.

Она – невидима и мимолетна.
Пик настоящего, грядущего исток...
Осуществления реальный срок.
Она - из Вечности...

Поэтому бессмертна!

Номинация «Философское эссе»

Татьяна Пискарева (Москва)- поэт, журналист, эссеист.

ВСЕ ВО МНЕ, И Я ВО ВСЕМ

Федор Тютчев, произвольный гений места

«Вы, шуткою, просили у меня стихов. Я, чтобы отшутиться, посылаю вам их. Они, как увидите, довольно вздорны, но я утешаюсь по крайней мере тем, что это последние», - писал молодой Тютчев своему товарищу по Московскому университету Михаилу Погодину. Тот вспоминал об их первой встрече: «мальчик, с румянцем во всю щеку, в зелененьком сюртучке, лежит он, облокотясь на диване, и читает книгу. Что это у вас? Виландов “Агатодемон”».

* * *

В упомянутой книге Кристофа Мартина Виланда про античного бога Агатодемона, которому совершались возлияния неразбавленным вином, можно прочесть следующее: «... по несчастью, на то время я не имел готового чуда, следовательно, мое могущество должно было казаться сомнительным...».

Ко времени встречи с будущим историком Погодиным мальчик Тютчев готового чуда не имел.

Его чудо, которое он мог бы предъявить, было довольно очевидным, как он понял впоследствии, и оно заключалось в «потоке лиризма, заливающим Европу» - «...в истоках его лежит очень простое обстоятельство, усовершенствование приемов языка и стихосложения. Всякий человек в определенном возрасте становится лирическим поэтом. Нужно только развязать ему язык».

Нужно только войти в поток лиризма, заливающий не только Европу, но все сущее – и плыть в этом русле, оставаться в нем.

Только и всего.

* * *

В кругах своего времени, высшего света Тютчев мог бы красиво, но бестолково раствориться, как жемчужина в вине, но избежать при этом судьбы более значительной.

Далеко небезупречный (как муж, отец и прочее) Тютчев имел, по известному определению его зятя Ивана Сергеевича Аксакова, «органический недостаток в тщеславии». «Он любил свет - это правда; но не личный успех, не утехы самолюбия влекли его к свету. Он любил его блеск и красоту; ему нравилась эта театральная, почти международная арена, воздвигнутая на

общественных высотах <...> Он никогда не становился ни в какую позу, не рисовался, был всегда сам собою, таков, как есть...».

Тютчев появлялся на публичной сцене в роли интеллектуального угощения, импровизатора, а не одаренного актера-любителя, являлся без реквизита и даже без подобающего костюма.

Поэта любили при дворах больших и малых, любовью умилительной, уважительной, взаимной, однако однажды объявили выговор из-за «шевелюры, обилие и беспорядок которой оскорбили взор». Великая княгиня (прогрессивная благотворительница Елена Павловна) решила не приглашать чересчур лохматого, но желанного, гостя на свои приемы и полушутя сообщила об этом во время обеда, на который позвала Тютчева, чтобы восхититься его стихами.

Невинные остроты, милое покалывание, которые так разнообразят пир и мир светских интеллектуалов всех времен – даже самых лучших из них.

Кончен пир, умолкли хоры,

Опорожнены амфоры

(...)

...Как над этим дольным чадом,

В горнем выпренном пределе

Звезды чистые горели,

Отвечая смертным взглядам

Непорочными лучами...

* * *

Тютчевская скромная фигура была приятна на пиру, хотя эстетически место пира не украшала. Чем ближе к старости - тем эта фигура была дальше от эталонов, все проще, неказистее и скромнее.

«Низенький, худенький старичок, с длинными, отставшими от висков, поседевшими волосами, которые никогда не приглаживались, одетый небрежно <...>; вот он входит в ярко освещенную залу, музыка гремит, бал кружится в полном разгаре <...>. Старичок пробирается нетвердою поступью близ стены, держа шляпу, которая сейчас, кажется, упадет из его рук <...> не думает ли он уйти назад... Подошедший сообщает новость, только что полученную, слово за слово, его что-то задело за живое, он оживляется, и потекла потоком речь увлекательная, блистательная, настоящая импровизация... ее надо бы записать...» (Погодин).

Поэтому и выгонять его было нельзя. Не забияка, не дуэлянт - впрочем, «он такое сложное существо...» (Александра Осиповна Смирнова-Россет).

«... - Разве его так занимает двор?

- Нисколько, но он любит все знать. В сущности же он ничему не придает значения и живет в идеальном мире...» (тоже из ее записей).

* * *

У Тютчева был скальпель мысли, «скальпель анализа» (дочь Анна об отце). Иногда он сверкал в стихах среди роз, облаков и любовной грусти. Чаще Тютчев изумлял в беседе, потому что умел быть гением места и понимал, что это означает.

Поэт-покровитель разнообразных пространств - в отличие от «первой любви России» Пушкина, гения места вполне определенного, уже в 1817 году удостоившегося от своих товарищей соответствующего памятного знака на камне Царского Села «G.L.» — «гению места».

Пушкин стал не только вечным «гением места», он был обладателем перстня – печати особы и высоты дара, по Мандельштаму: «Дайте Тютчеву стрекОзу - / Догадайтесь почему! / Веневитинову — розу./ Ну, а перстень - никому...». Об этой легкомысленной стрекОзе Мандельштам написал спустя почти ровно столетие после Тютчева: «В душном воздуха молчанье, / Как предчувствие грозы, / Жарче роз благоуханье, / Звонче голос стрекозы...».

Но если спуститься дальше по стихотворению Тютчева, там есть строка, поднимающая душный летний день гораздо выше облаков и иронии Мандельштама. «Жизни некий преизбыток...». Строка, которая роднит Тютчева и Пушкина, и других поэтов - столь же разных, как и схожих.

Знакомое отягощение житейских обстоятельств, с их неизбежной докукой, которое истирается и преобразует ландшафт, подчиняясь произвольному рождению совершенной поэзии.

«Ибо нет места без духа» - Nullus enim locus sine genio est.

О буйные ветры,
Скорее, скорей!
Скорей нас сорвите
С докучных ветвей!
(«Листья»)

* * *

«Был всегда сам собою, таков, как есть, прост, независим, произволен...»,
- удостоверяет тютчевский зять Аксаков.

«Как я уже говорил, милостивый государь граф, служба доставляет мне средства к жизни...» (о вакансии 1-го секретаря Мюнхенской миссии, к графу Карлу Васильевичу Нессельроде, через 10 лет ставшему государственным канцлером, а через 15 лет за астрофильский курс внешней политики – «карликом и беспримерным трусом» в глазах Тютчева). «Его Величеству было угодно удостоить Вас ключа камергера...» - граф искренне ходатайствовал за Тютчева у Николая I и считал необходимым поддержать его «примерное усердие».

Служебные и дипломатические хлопоты были необходимы для достойного материального достатка, малосущественны в судьбе произвольного и независимого поэта, наблюдающего и описывающего жизнь.

* * *

Потеря камергерских галунов – и вовсе шутка, о которой можно было написать любящей и любимой жене, все принимающей («Моя жена, не обладая большими средствами, имеет достаточно для содержания нас обоих, и готова все свое состояние до последней копейки истратить на меня»).

«Знаешь ли, я имею теперь возможность подарить тебе весь галун с двух моих придворных мундиров <...> покидая службу, сохраняешь право на ключ и на звание камергера, но теряешь право на мундир. Вот я и лишен галунов. И вместо великолепного панциря, в котором ты видела меня доселе, - я вынужден довольствоваться мундиром, какой ты могла видеть прошлой зимой на князе Голицыне. Уж теперь-то ты в полном праве называть меня бедным камергером» (Эрнестине Тютчевой, 1842 г.). Впрочем, позже он утешал родителей, что галуны сможет себе вернуть, ради «камергерского звания - единственного, чему я приписываю некоторую важность»...

Современники судачили о том, что растяпа-Тютчев взял с собой дипломатические шифры, которые потерял «в суматохе свадьбы и путешествия», да и сам затерялся где-то во время отлучки. В формулярном списке Тютчева появилась чинная запись о «несчитании» в Министерстве иностранных дел «за долговременным неприбытием из отпуска».

А в записях Тютчева вне формуляров и с размеренностью хорошо заведенных часов появлялись стихи, которые он «ронял, как цветы мгновенного вдохновения».

«Он не знал, что значит сочинять стихи; они создавались в ту минуту, как созвучием нужно было высказать мысль или чувство, - досочинил облик поэта его младший современник, издававший поэта ребенком, - наскоро он набрасывал их на клочке бумаги и затем ронял, позабывая о них, на пол».

* * *

Бросал ли он стихи на самом деле на пол – вопрос спорный.

Но жест характерный, потому что сочинённое отпускается на волю и движется затем в произвольном направлении, немедленно растворяясь «во всём», как нечто одушевленное, свершившееся и безусловное.

«Высоких зрелищ зритель» был допущен ко всему, что находилось вокруг в таком же произвольном, хаотическом виде, как и его шевелюра, забракованная высшим светом, как его характер и все поэтическое в нем – красивое и пугающее, как сумерки в старом летнем саду.

«Он совершенно вне всяких законов и общепринятых правил! Он поражает воображение, но есть в нем что-то жуткое, тревожное» (дочь Тютчева Анна - сестре Дарье, 1854 год). Анна писала под впечатлением

встречи с отцом, когда они не узнали друг друга. На этот раз, правда, поэт «был побрит, загорел и выглядел довольно свежим старичком». «... Вдруг столкнулась лицом к лицу с маленьким человечком, в котором узнала собственного отца. "Это ты?" - "Это ты?". И мы всенародно расцеловываемся. <...> Я нашла его чрезвычайно взвинченным, в полном отчаянии от того, что делается в политическом мире, и проклинаящим все мироздание».

* * *

"Вот четверостишие, которое папа_ сочинил на-днях, - он пошел спать и, проснувшись, услышал, как я рассказывала что-то маменьке:

Впросонках слышу я – и не могу
Вообразить такое сочетание,
А слышу свист полозьев на снегу
И ласточки весенней щебетанье».

Шум мироздания звучал всюду: на балах, в любовном шепоте последовательных и одновременных любовных привязанностей Тютчева, в политических стычках, в дипломатических депешах, наяву и в полусне. «Молчи, скрывайся и таи / И чувства и мечты свои <...> / Другому как понять тебя? / Поймет ли он, чем ты живешь? / Мысль изреченная есть ложь. / Взрывая, возмутишь ключи, - / Питайся ими – и молчи». «Silentium!» («Я не знаю лучше стихотворения» - Лев Толстой) - это шедевр еще молодого Тютчева. Он явно не был намерен усиливать бессвязный внешний шум мироздания.

«Дело в том, что все живут тесным кругом, постоянно собираясь друг у друга, как на борту корабля» - письмо из Веймара Эрнестине Тютчевой.

Вокруг и так было довольно тесновато.

* * *

В шуме мироздания было совсем немного идеальных, смутных обещаний всенародного благоденствия и повсеместного братания – да и существуют ли они?

«Мы так нравственно и духовно бессильны, так несказанно ничтожны! - писал Тютчев государственному и общественному деятелю, прозаику, путешественнику Егору Петровичу Ковалевскому незадолго до реформы 1861 года - <...> Что такое Россия? Пятое ли колесо в европейской системе или особый, самобытный мир, треть которого еще в плену у Запада? — Завалена, застроена, т<ак> с<казать>, Западом? И не иначе может из-под него высвободиться, как разрушивши его. — Но кто у нас в России это чувствует, это понимает? Вы, я, да еще 10 человек, но, конечно, ни царь, ни князь».

Назначенный в 1848 году чиновником особых поручений и старшим цензором при Особой канцелярии Министерства иностранных дел, Тютчев иногда негодовал в беседах и письмах: «Если бы я не был так нищ, с каким наслаждением я тут же швырнул бы им в лицо содержание, которое они мне выплачивают, и открыто порвал бы с этим скопищем кретинов...».

* * *

Век просвещенный, динамичный, воздушный, не мрачный и не ужасный до степени невыносимости не давал поэту, тем не менее, умиротворения. «Ах, покоя, покоя, во что бы то ни стало! Все царства мира за каплю покоя. Но, видимо, все окружающее сговорилось его у меня отнять <...> Бывают мгновения, когда я задыхаюсь от своего бессильного ясновидения, как заживо погребенный, который внезапно приходит в себя».

Тютчев был внимателен к источникам трагических несовершенств, из-за которых происходят «чрезмерные катастрофы», когда своевольничают «закоснелые тираны» («К оде Пушкина на Вольность»), а «негодяи воюют с крестинами». «Не Богу ты служил и не России,/ Служил лишь суеде своей...» Предполагается, что эпиграмма-эпитафия Николаю I написана под впечатлением падения Севастополя. «Для того, чтобы создать такое безвыходное положение, нужна была чудовищная тупость этого злосчастного человека...» (Эрнестине Тютчевой, 1855 г.).

Но в целом он все-таки оставался независимым скептиком. Это - равнодушие к высокомудрым схемам, инстинктивное отторжение излишней вязкости рассуждений.

«Пары зыбкого идеологизма носятся в океане беспредельности...», - писал Вяземский в те времена, хотя и не по политическому или философскому, а по локальному литературному поводу.

* * *

Знаменитое изречение «Русская история до Петра Великого — одна панихида, а после Петра — одно уголовное дело» на светских раутах не расценивалось как эпатажное. Тютчев произносил подобное «в гостиной, во фраке, с чашкой послеобеденного кофе в руке», то есть в традициях светской язвительности, в целом не выходящих за рамки приличий.

Гений места, Тютчев был к нему чуток, пытался оберегать неидеальное пространство от угроз и возможных разрушений.

«... Каким бы кратким ни был этот период разложения, он будет все-таки достаточно продолжительным, чтобы посеять огромное зло: заразить революцией славянские племена», - из переписки Тютчева, 1849 год. И публицистика его, и цензорские старания (запрет на распространение в России коммунистического «Манифеста»), и беспокойство, выраженное в письмах к

близким людям, и колкости в адрес чиновников – слушали птенцы дворянских гнезд. Эти рафинированные «граждане всего образованного мира, равноправная труппа актеров» (определение Аксакова), а не те, кого поэт называл «темною толпой непробужденного народа» и которые, как и он, видели Царя небесного, странствующего в виде рабском по родной земле.

Как уж «задумчивого поэта» (Яков Полонский) воспринимали члены «равноправной труппы», кто был действительно внимателен к его едким словам – немногие. Но его встречали, «как встречают свет, когда потухнет электричество и вдруг опять зажжется. С ним входила теплота, с ним входил ум».

Так никогда не встречают истинного, бесправного пророка, но иногда так встречают поэта.

* * *

Он менее всего был бунтарем и фрондером - подчиняясь поэтическому призванию, «был во всём». Растворялся в предчувствиях «последнего катаклизма» и политических катаклизмах, которые ему виделись или мерещились, в каждой своей глубокой и сильной любовной привязанности, в детях, адресатах писем, собеседниках, когда был один и вслушивался в тишину.

А что до действительности – «... страшная действительность и не думает о том, видят ее или нет. Ей достаточно того, что она существует... Она есть, она идет, она наступает» (Эрнестине Тютчевой, 1854 г.).

«... я изображал из себя фигуру, совершенно сходную со всеми. После сего попробуйте по выражению лиц судить о том, что у людей на сердце».

Тени сизые смешались,
Цвет поблекнул, звук уснул -
Жизнь, движенье разрешились
В сумрак зыбкий, в дальний гул...
Мотылька полет незримый
Слышен в воздухе ночном...
Час тоски невыразимой!..
Всё во мне, и я во всём!..

* * *

«Тютчев пришел ко мне, и мы проболтали о Шеллинге и пр.: образованный русский, много читал и хорошо говорит...» (брат декабриста, историк Александр Иванович Тургенев - 1832 год). Образованный русский Тютчев, рассуждавший о Шеллинге и всём прочем, что было важным в ту

эпоху, по-прежнему существует вне времени и иных, столь же условных, ограничений.

Федор Тютчев ушел с театрально-общественной сцены, будто нарочно подгадав к солнечному зениту, июльскому дню злополучной дуэли Лермонтова. По характеристике Погодина: «барич по происхождению, сибарит по привычке, ленивый и беспечный по природе». Но поэтическая беспечность – трепещущие «крылья стрекозы» - не помешала оставаться среди признанных поэтов-мыслителей и с литературной сцены не уходить. Без «великолепного панциря» и галунов - фигура убедительная, как доказанное чудо.

Откуда, как разлад возник?
И отчего же в общем хоре
Душа не то поет, что море,
И ропщет мыслящий тростник?

«С невероятным усилием пишу собственной рукой, чтобы оставить тебе свой последний автограф, - писал Тютчев дочери об исполнении последнего желания отправиться умирать в имение Аксаковых на Оке, - ... не без глубокого сожаления о том, что я здесь покину».

Галина Солонова (г. Сельцо, Брянская область)- писать.

КОСНУЛАСЬ Я ДУШИ ТВОЕЙ, ПОЭТ

«Он создал речи, которым не суждено умереть»

И.С. Тургенев

Много раз мы с внучкой-десятиклассницей посещали в Овстуге музей-усадьбу Фёдора Ивановича Тютчева. Прошедшим летом были там снова. К моему удивлению, внучка очень внимательно и заинтересованно обследовала каждый уголок. Долго она стояла у памятника поэту, затем достала из сумочки несколько его фотографий, вглядываясь в них, тихо сказала:

- Скульптор Алексей Кобилинец прав: Фёдор Иванович всегда задумчив и чуть печален.

Когда вернулись домой, внучка опять углубилась в изучение творчества Тютчева: то к компьютеру присядет, то книгу полистает. Так и уснула с томиком стихов в руках. А утром проснулась радостная, одухотворённая и тихо сообщила:

- Я с Фёдором Ивановичем встречалась, разговаривала с ним.

- Ты не заболела, внученька? С тобой всё в порядке?

- Не смейся, бабушка. Всё было, словно наяву.
- Тогда рассказывай, пока я завтрак буду готовить.

- К сожалению, я встретила с ним не в лучшее для него время. Это было в Царском селе, когда он был смертельно болен. Фёдор Иванович тихо лежал на белоснежной постели в длинном бархатном халате тёмно-синего цвета. Лицо печальное, даже строгое, глаза полузакрыты, здоровой правой рукой он поглаживал парализованную левую.

Чуть дыша, я прислонилась к рядом стоящему креслу и пролепетала:

- Фёдор Иванович, простите за мою дерзость: могу ли я с Вами поговорить?

Он прислушался, слегка повернув голову ко мне, открыл глаза и удивлённо прошептал:

- Вижу совсем плохо, но слышу нежный девичий голос. Кто вы и откуда, сударыня?

- Я – Полина. Пришла к Вам из своего сна две тысячи двадцатого года.

- Вот как? – произнёс он удивлённо. – Неужели много лет спустя меня помнят?

- Ещё как! И помнят, и знают! А как любят и ценят Ваши стихи! Хочется мне уточнить кое-что о Вашей жизни и о Вашем творчестве. Можно?

- Сочту за честь, сударыня Полина.

- Благодарю... Вы ведь родились в селе Оводженка, где протекает одноимённая река?

- Да, это так, но всё это Овстуг. Усадьба, которую начинал благоустраивать мой дед.

- Мне очень нравится, что с четырёхлетнего возраста Ваши родители приставили к вам благочестивого и грамотного Николая Афанасьевича Хлопова. Ведь это он заложил в детский ум и сердце основы русского языка, знание русского быта, раскрыл красоту русской природы, воспитывал патриотизм.

- Николай Афанасьевич был для меня не только нянькой, но и на протяжении двух десятилетий – другом. В студенческие годы, в неметчине, он облегчал жизнь в быту. Очень дорожу подаренной мне иконой с надписью: «В память моей искренней любви и усердия моему другу Фёдору Ивановичу Тютчеву...»

Поэт открыл глаза: видно, приятные воспоминания приободрили его.

- Часто не хватает талантливым молодым людям родительского совета и поддержки. «Любезному папеньке» – было написано первое стихотворение. Честь и слава Вашим родителям, которые увидели в сыне стихотворца и в одиннадцать лет наняли учителя Семёна Егоровича Раича. Хоть и был он всего на четыре года старше, но именно он познакомил с правилами стихосложения, помог изучить античную литературу, и в тысяча восемьсот тринадцатом году с успехом Вы уже переводили оды Горация.

Фёдор Иванович утвердительно едва кивнул головой.

- Мало, кто из Ваших современников смог окончить университет раньше положенного срока, а Вы, Фёдор Иванович, окончили. Восхищаюсь этим фактом!

- Да, в тысяча восемьсот двадцать первом году окончил Московский университет, а через год стал служащим Государственной коллегии иностранных дел.

- Вы писали, что «Остерманова рука закинула меня так далеко»... В Мюнхен, в дипломатическую миссию. Да? Остерман-Толстой – Ваш родственник. В моём понятии, он рекомендовал Вас «по благу». Так это называется у моих современников.

- Не знаю такого слова, такого понятия. Остерман-Толстой, герой Отечественной войны, не мог несмышлёныша рекомендовать на такую важную службу, – слышались в голосе возмущённые нотки.

- Знаю: в Россию Вы, Фёдор Иванович, вернулись в тысяча восемьсот сорок четвёртом году. «Ах, какие приступы тоски по родине овладевают мною», – писали вы жене Эрнестине Пореффель. Сочувствую: двадцать два года пребывания за границей – срок немалый! Но он не прошёл впустую. Вы общались с философом Фридрихом Шеллингом, поэтами Иоганном Гёте, Генрихом Гейне, посещали литературные вечера, изучили поэзию Байрона, обращались к Шекспиру, писали публицистические статьи на французском языке. Получается, что у своих русских предшественников ничему не научились?

- Обидно, но, наверно, правдиво. Зато мой стих крайне самостоятелен и своеобразен.

- Ваши стихи мои современники делят на четыре блока: пейзажная лирика, любовная, стихи о родине, стихи о вере. Очень люблю природную тему, где передаются живые и разумные чувства окружающей природы. Русская природа в ваших стихах – это «природа-мать». Она живая,

одухотворённая, многоликая и могущественная. Это живое, мыслящее и чувствующее существо. «И сладкий трепет, как струя, по жилам пробежал природы», «Неохотно и несмело солнце смотрит на поля», «А воды уж весной шумят». Я насчитала, Фёдор Иванович, сорок восемь стихов о природе. Их лёгкие строки шуршат, звенят, поют, шепчут и остаются в сердцах читателей.

- Вы не преувеличиваете, Полина?

- Скорее всего, я недооцениваю их достоинства. А вот до сути Ваших философских стихов, думаю, я не доросла. Однако, понимаю, что философская лирика – это раздумья о смысле бытия, о ценности человеческой жизни, о месте человека в этом мире и его предназначении. «О, бурь заснувших не буди –

Под ними хаос шевелится!»

Фёдор Иванович, кажется, Вы сожалеете, что не можете до конца проникнуть во все тайны бытия...

Мне показалось, что Тютчев едва усмехнулся. Я вспомнила несколько фотографий с его чуть насмешливой, спрятанной за очками улыбкой.

- Думаю, что это вообще невозможно, – вздохнув, сказал поэт.

- Фёдор Иванович, можно я ещё чуть-чуть поговорю с Вами?

- Разрешаю. Чувствую, что это мой последний разговор о моей жизни.

- У Вас девять детей от трёх жён: Анна, Дарья, Екатерина, Мария, Дмитрий, Иван, Елена, Фёдор, Николай. Все они были названы русскими именами. Значит, Вы любили Россию, воспевали её, изучали общественно-политическую жизнь родной страны, хотя и ненавидели царящие в то время нравы... «Не плоть, а дух растлился в наши дни,

И человек отчаянно тоскует...

Он к свету рвётся из ночной тени

И, свет обретши, ропщет и бунтует».

И все-таки, почему Вы женились на немке – Элеоноре Петерсон? И вторая жена – Эрнестина Деренберг.

- Тогда это было нормой.

- Скажу честно: многие мои современницы осуждают Вас за тесную связь с женщинами. Их, кажется, было пять. Неужели вы их всех любили? Да и связь с некоторыми из них не способствовала Вашей карьере.

Последовал очередной тяжёлый вздох Фёдора Ивановича:

- Да, я не безгрешен. Постоянно переживал из-за того, что ставил своих женщин в неловкое положение.

- Помню Ваши строки: «О, как убийственно мы любим,

Как в буйной слепоте страстей

Мы то всего вернее губим,

Что сердцу нашему милей!»

Я почувствовала, что Ваши стихи о любви – это состояние покоя и, в то же время, вечная борьба.

- Это так, – тихо прошептал поэт.

- Наверно, было за что женщинам Вас любить! Мне очень жаль молодую Елену Денисьеву. Вы ведь были вдвое старше её. Четырнадцать лет прожили с ней, как говорят Ваши современники, «во грехе». При живой жене-то, Эрнестине...

- Единственное моё оправдание – это страстная, безумная любовь к ней, посланная небом, – прервал меня Фёдор Иванович. – Елена родила троих детей, и я им дал свою фамилию. Кстати, с согласия Эрнестины.

- Понимаю, не было б Елены, которую Вы боготворили, не было бы и «Денисьевского цикла» стихов... «Денисьевский цикл» мои современники признают как прекрасное творение о любви. А Елене сочувствую: она не вынесла общественных осуждений, которые оставляли в её душе кровавые раны.

- Корю себя за бессилие и страх, которые не позволили защитить любимую от осуждения и людского гнева, – измученным от душевного страдания голосом прошептал поэт.

- Простите. Однако, мне хочется вернуться к Вашему творчеству. С тысяча восемьсот пятьдесят шестого до тысяча восемьсот семидесятый год Ваши стихи наполнены политическими мотивами, появляется гражданский трактат: «Не плоть, а дух растлился в наши дни,

И человек отчаянно тоскует.

Он к свету рвётся из ночной тени

И, свет обретши, ропщет и бунтует».

Какая гражданская мощь! И, тем не менее, Ваши стихи мало печатались. Лишь журнал Пушкина «Современник» принёс Вам известность. Некрасов назвал Вас «русским первостепенным поэтическим талантом». А сборников стихов вышло всего лишь два: первый – в тысяча восемьсот пятьдесят четвёртом, второй – в том же году. Благодаря сыну Ивану в тысяча восемьсот шестьдесят восьмом году вышло второе прижизненное издание. Ну почему же так мало, Фёдор Иванович?

- Не придавал я особого значения своим стихам. Пишется да и пишется. Наверно, смысл жизни был для меня в другом. Я «песчинка мироздания». Счастье – главная ценность человеческой жизни, – печально произнёс поэт.

- Сударыня! – неожиданно услышала я строгий женский голос. – Не пора ли Вам покинуть нас! Фёдор Иванович устал!

Я оглянулась. В уголке комнаты сидела женщина. Это была Эрнестина – вторая жена поэта. Выглядела она точно так, как на портрете, что висит в одной из комнат дома-музея в Овстуге. Именно с ней Фёдор Иванович преуспел в активной дипломатической деятельности. Именно Эрнестина высоко ценила поэтический талант мужа. Я вспомнила этот факт, вычитанный в какой-то книжке о Тютчеве. Большим уважением прониклась, глядя на эту мужественную женщину. Несмотря на все измены мужа, она показала редчайшее самообладание, сохранила своё достоинство и до последней минуты была рядом с ним.

- «Жизнь, как подстреленная птица,

Подняться хочет и не может».

Это Фёдор Иванович, сомкнув веки, печальным голосом процитировал строки из своего стихотворения, посвящённого Елене Денисьевой. Думал поэт в эти минуты о кратковременности человеческого бытия? Или это состояние самого Фёдора Ивановича, в котором он находился после смерти его возлюбленной? А не свою ли жизнь сравнивает поэт с подстреленной птицей? Хотела я задать поэту свои вопросы, да не успела: яркий свет пробивался через штору моего окна. Я проснулась.

Внучка закончила свой рассказ и вопросительно посмотрела на меня. А я радовалась: Полина проявила интерес к глубокому изучению жизни и творчества Фёдора Ивановича Тютчева. Надеюсь, интерес к русской литературе не угаснет.